

Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Двадцать четыре часа из жизни женщины

В маленьком пансионе на Ривьере, где я жил лет за десять до войны, как-то за столом завязался жаркий спор, грозивший перейти в яростное препирательство и чуть ли не во взаимные оскорбления и обиды. У людей большей частью косное воображение. То, что непосредственно их не касается, что не проникает в самую глубину их души, вряд ли может их тронуть. Но порою, если на их глазах произойдет что-нибудь самое ничтожное, но касающееся непосредственно их, страсти вдруг неудержимо разгораются. Свое обычное безучастие они в известной степени вознаграждают в таких случаях безудержной и излишней горячностью.

Так случилось и на этот раз в нашем вполне буржуазном застольном обществе, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками, редко глядело друг другу в глаза и сразу же после обеда разбредалось кто куда: немецкая чета — гулять и фотографировать, мирный датчанин — к своим скучным удочкам,

важная английская дама — к своим книгам, итальянец с женой — в легкомысленное Монте-Карло, а я — бездельничать в садовом кресле или работать. На этот раз, однако, благодаря ожесточенным прениям, все сцепились друг с другом, и если один из нас стремительно вскакивал, то вовсе не для того, чтобы приветливо распрощаться, а просто в порыве спора, который, как я уже сказал, принял под конец прямо-таки неистовые формы.

Что же касается случая, который так взбудоражил наш маленький кружок, то он, без всякого сомнения, был достаточно поразителен. Пансион, в котором мы все семеро жили, занимал отдельную виллу (ах, какой чудесный вид открывался из окон на изрезанный скалами берег!), но в то же время являлся, собственно говоря, только частью большого «Палас-Отеля», с которым соединялся садом, так что мы, хоть и жили особняком, все же находились в постоянном общении с гостями отеля и принимали участие в его жизни и празднествах. Как раз накануне в этом отеле разыгрался классический скандал, который дал бы репортеру парижской газеты богатую канву для романтической истории с броским заголовком. С поездом в 12 часов 20 минут дня (время необходимо указать точно, ибо оно важно и для этого эпизода, и как тема нашего разговора) прибыл

молодой француз и занял комнату с видом на море, что уже само по себе свидетельствовало об известной состоятельности. Не только своей безупречной элегантностью обратил он на себя наше внимание, но прежде всего исключительно привлекательной внешностью: светлые шелковистые усы оттеняли, посреди тонкого женственного лица, чувственные, горячие губы, на белый лоб спускались волнистые каштановые волосы, мягко глядели глаза — все в нем было мягкое, нежное, приятное, и притом без всякого притворства и искусственности. Если на первый взгляд он издали и напоминал немного те накрашенные, самодовольно подтянутые восковые фигуры, которые с франтовской палкой в руке изображают в витринах ателье мод идеал мужской красоты, то при ближайшем рассмотрении это впечатление фатоватости исчезало, потому что его постоянные улыбки, его приветливость были врожденными. Проходя, он скромно и в то же время сердечно приветствовал каждого, и было приятно видеть, как при всяком случае невольно проявлялись его изящество и воспитанность. Даме, которая подходила к вешалке, он спешил подать пальто; для ребенка у него всегда был ласковый взгляд или шутка; он был обходителен и вместе с тем сдержан, словом, он казался одним из тех счастливых людей, которые, чувствуя, что другим

приятно их милое лицо, их молодое обаяние, и сами невольно становятся веселыми и уверенными и своей беззаботной радостью вселяют бодрость и в окружающих. На стареющих и хворых большей частью гостей отеля его присутствие действовало благотворно, и своей юношески победной походкой, своей свежестью и жизнерадостностью он сразу завоевал всеобщее расположение. Уже через два часа после приезда он играл в теннис с двумя дочерьми толстого, солидного лионского фабриканта, двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, красивая, изящная и сдержанная мадам Анриет, улыбаясь, смотрела, как ее неоперившиеся и бессознательно кокетливые дочурки флиртуют с молодым незнакомцем. Вечером он сидел у нас за шахматным столиком, скромно рассказал два-три милых анекдота, долго расхаживал потом с мадам Анриет взад и вперед по террасе, между тем как ее муж играл, как всегда, в домино с одним из своих приятелей, а поздно вечером я видел, как он довольно непринужденно беседовал в тени бюро с секретаршей отеля. На другой день он сопровождал моего датчанина на рыбную ловлю, причем обнаружил в этом деле поразительные познания, потом долго беседовал с лионским фабрикантом о политике, показав себя при этом хорошим собеседником, потому что сквозь шум прибора

слышался раскатистый смех толстого господина. После обеда (с точностью отмечаю его времяпровождение, так как это необходимо, чтобы хорошо уяснить себе ситуацию) он около часу сидел с мадам Анриет в саду за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в зале с немецкой четой. В шесть часов, когда я шел отправить письмо, я увидел его на вокзале. Он подошел ко мне, все с той же подкупающей непринужденностью, словно мы были знакомы годами, хоть и показался мне не таким спокойным, как накануне, и сказал с каким-то подчеркивающим ударением, что сейчас он должен уехать, но дня через два снова вернется. И действительно, за ужином его не оказалось — не оказалось лишь его особы, ибо за всеми столами говорили только о нем, превознося его милое, веселое обращение. Ночью — было, вероятно, около 11 часов — я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, как вдруг из сада донеслись взволнованные крики, а напротив в отеле началось какое-то движение. Скорее обеспокоенный, чем из любопытства, я тотчас же спустился вниз и подошел к возбужденным гостям и слугам. В то время как фабрикант, со своей обычной пунктуальностью, играл в домино с одним приятелем из Намюра, мадам Анриет, как всегда, пошла погулять вдоль береговой террасы и не вернулась. Боялись, не случилось ли с ней

несчастья. Как бык, бегал по берегу этот всегда солидный, неуклюжий человек, и, когда он не своим от волнения голосом кричал во тьме: «Анриет, Анриет!», в этом крике было что-то страшное и первобытное, напоминавшее вой раненного насмерть чудовища. Кельнеры и мальчишки-посыльные сломя голову носились вверх и вниз по лестнице и по дороге вплоть до самого моря; будили постояльцев и спрашивали их, не видели ли они пропавшую, телефонировали в полицию. А толстый человек, с расстегнутым жилетом, бегал, спотыкался и, совершенно обезумев, всхлипывая, кричал в темноте: «Анриет, Аириет!» Меж тем проснулись и дети и в своих ночных рубашках звали из раскрытых окон мать. Тогда отец поспешил к ним наверх, чтобы успокоить их.

И вот случилось что-то страшное, с трудом поддающееся рассказу, потому что в минуты непомерного напряжения образ человека становится так трагичен, что невозможно с той же молниеносной силой передать его кистью или пером. Внезапно показался этот грузный человек и спустился по скрипучим ступеням, с изменившимся, совершенно усталым и все же яростным лицом. В руке он держал письмо. «Отошлите всех! — еле внятным голосом обратился он к управляющему. — Отошлите людей,

ничего не нужно. Моя жена покинула меня».

В нем была выдержка, в этом сраженном насмерть человеке — нечеловеческая выдержка перед всеми этими столпившимися вокруг людьми, которые сначала с любопытством смотрели на него, а потом вдруг испуганно, сконфуженно и растерянно отвернулись. У него еще хватило сил пройти мимо нас, не взглянув ни на кого, и потушить свет в читальной. Потом мы слышали, как его большое, грузное тело упало в кресло, а затем — какое-то дикое, звериное всхлипывание. Так плакать мог только человек, который никогда не плакал. И эта простая боль заставляла молчать всех, даже самых пошлых. Никто из лакеев, никто из гостей, которых привело сюда любопытство, не посмел улыбнуться, проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим проскользнули мы в свои комнаты. И только в темном зале медленно гасящего свет, тихо переговаривающегося, шушукающегося, шепчущего дома одиноко корчилось в рыданиях это сраженное человеческое тело.

Теперь будет понятно, что этого потрясающего и случившегося на наших глазах события было достаточно, чтобы привести в возбуждение привыкших к скучной и беззаботной жизни людей. Но для бурного спора, который разразился за нашим столом и едва не привел к

столкновениям, этот удивительный случай послужил лишь исходным пунктом; тут было и принципиальное расхождение, гневное противопоставление различных пониманий жизни. Благодаря нескромности горничной, которая прочла письмо, скомканное потрясенным мужем и брошенное им в бессильной злобе на пол, все сразу узнали, что мадам Анриет ушла не одна, а с молодым французом (теперь у большинства из нас стало быстро исчезать то расположение, которым он пользовался).

Правда, на первый взгляд было вполне понятно, что еще красивая, изящная женщина бросила своего грузного провинциала-мужа ради молодого, элегантного красавца. Но что свыше всякой меры раздражало весь дом, так это утверждение, будто бы ни фабрикант, ни его дочери, ни сама мадам Анриет никогда раньше этого ловеласа не видели, так что, следовательно, достаточно было двухчасового разговора на террасе и часа за черным кофе в саду, чтобы заставить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину бросить к вечеру своего мужа и детей и очертя голову уйти за чужим молодым щеголем. Почти никто из членов нашего застольного кружка не хотел допустить, что это было так, видя в этом лишь хитрое вероломство и ловкий маневр любовников. Считалось само собой разумеющимся,

что мадам Анриет уже давно была в близких отношениях с молодым человеком и теперь он приехал сюда, чтобы окончательно подготовить бегство, потому что — так рассуждал наш кружок — было немислимо, чтобы достойная дама, всю свою жизнь пользовавшаяся безупречной репутацией, после двухчасового знакомства убежала по первому свистку, как собака на улице, когда чужой поманит ее за собой. Я, забавы ради и именно ввиду единодушия обеих супружеских пар, высказал противоположную точку зрения, энергично отстаивая возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, разочаровавшись в долголетнем, скучном замужестве, внутренне готова к тому, чтобы уступить первому же серьезному натиску. Этот неожиданный аргумент сразу же сделал спор общим и тем более страстным, что обе супружеские пары — как немецкая, так и итальянская — с прямо-таки оскорбительной презрительностью отрицали существование «*coup de foudre*»¹ как глупость и безвкусную романтическую выдумку.

Едва ли нужно передавать завязавшийся спор во всех его подробностях: за табльдотом остроумны

¹ (Удар молнии) — безудержный порыв страсти (*фр.*).

только профессионалы этого дела, и доводы, за которые хватаются в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и найдены наспех. Мне трудно будет вспомнить, почему этот спор так скоро перешел в ссору и взаимные оскорбления; я думаю, началось с того, что оба мужа невольно пожелали исключить в отношении своих жен возможность такого легкомыслия и непостоянства. К сожалению, они не нашли для этого ничего лучшего, как возразить мне, что рассуждать, как я, может только тот, кто судит о женщине по своим сомнительным и случайным победам холостяка; это одно уже взбесило меня, а когда еще и немка стала поучать меня, что существуют «настоящие женщины» и женщины «с блудливой натурой», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриет, то у меня окончательно лопнуло терпение, и я, в свою очередь, стал дерзким. За этим отрицанием очевидной истины, что в жизни женщины бывают часы, когда она предоставлена таинственным силам по ту сторону воли и сознания, кроется, говорил я, только страх перед собственным инстинктом, перед демонизмом нашей природы, и многим людям доставляет удовольствие считать себя более стойкими, нравственными и чистыми, чем те, кто «легко поддается искушению». Я лично считал более честным, если женщина свободно и страстно отдается своему

инстинкту, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать своего мужа в его же объятиях, как это сплошь да рядом бывает. Я сказал это случайно, и, чем больше остальные нападали на мадам Анриет в этом обострившемся разговоре, тем горячее я защищал ее. По правде говоря, мое внутреннее убеждение так далеко не шло. Мое воодушевление было, так сказать, боевой трубой для обеих супружеских пар, а они, нестройным квартетом, так ожесточенно нападали на меня, что старый датчанин, сидевший с веселым лицом и словно с секундомером в руке, как судья на футбольном матче, вынужден был постукивать по столу согнутым пальцем: «Джентльмены, прошу вас!» Однако это помогало лишь на мгновение, да и то не каждый раз. Наши нервы были до того напряжены, мы были до того раздражены друг другом, что нас не так легко было успокоить. Не менее трех раз уже вскакивал один господин из-за стола, весь красный, и с большим трудом поддавался уговорам своей жены; словом, еще немного — и наши прения окончились бы открытой ссорой и оскорблениями действием, если бы не вмешательство миссис К., которое, словно масло, пригладило пенящиеся волны спора.

Миссис К., седая, представительная англичанка, была всеми безмолвно признана почетной председательницей нашего стола. Всегда

сидя очень прямо на своем месте, всегда с одинаковой приветливостью обращаясь к каждому, молчаливая и все же вежливо заинтересованная тем, что говорилось вокруг, она уже чисто внешне представляла приятное зрелище: удивительным самообладанием и спокойствием веяло от ее аристократической, сдержанной натуры. Она держалась в некотором отдалении от всех, но умела с замечательным тактом высказать каждому дружеское расположение. Большею частью она сидела в саду с книгой, иногда играла на рояле, и лишь изредка ее видели в обществе или участницей оживленного разговора. Ее почти не замечали, и все же ее присутствие оказывало на нас изумительное действие. И вот теперь, когда она, задав вопрос, впервые приняла участие в разговоре, всех нас охватило тягостное чувство стыда за то, что мы так шумно, несдержанно и по-плебейски вели себя. И едва она заговорила, наш разговор принял спокойную, уравновешенную форму.

Миссис К. воспользовалась гневной паузой, когда наш немец резко вскочил из-за стола и затем, усмиренный, снова тихо сел на свое место. Она невозмутимо подняла свои ясные серые глаза, нерешительно посмотрела на меня и затем, с почти осязаемой отчетливостью, осветила по-своему тему спора.

— Значит, вы полагаете, если я вас правильно

поняла, что мадам Анриет, как и всякая другая женщина, может как бы бессознательно и — так сказать, — не неся на себе вины, быть втянута в случайное похождение; что бывают поступки, которые такая женщина за час до того сама считала невозможными и за которые она даже едва ли может быть ответственной?

— Да, я в этом уверен, сударыня, — ответил я, совершенно успокоенный этим деловым тоном.

— Тогда каждый приговор морали совершенно бессмыслен, каждый безнравственный поступок оправдываем. Если вы действительно полагаете, что «преступление по страсти», как это называют французы, вовсе не преступление, то государственное правосудие вообще излишне. В таком случае не потребуются особых стараний — а у вас этого старания удивительно много, — прибавила она с легкой улыбкой, — чтобы в каждом преступлении найти страсть и оправдать его этой самой страстью.

Ясный и вместе с тем веселый тон ее слов подействовал на меня замечательно успокаивающе, и, невольно подражая ее деловой манере, я ответил полушутя-полусерьезно:

— Государственное правосудие смотрит на это, несомненно, строже, чем я: ведь на нем лежит обязанность охранять нравственность и общественные приличия, и это заставляет его

осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не вижу для себя необходимости добровольно брать на себя роль прокурора; я предпочел бы профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем осуждать их.

Миссис К. смотрела на меня своими ясными серыми глазами и молчала. Я уже подумал, что она недостаточно хорошо меня поняла, и готовился по-английски повторить ей сказанное, но тут она с чрезвычайной серьезностью, словно на экзамене, начала снова задавать мне вопросы:

— Ну а каково же все-таки ваше личное мнение? Разве вы не находите постыдным, даже ужасным, если женщина покидает мужа и двух детей, чтобы пойти за каким-то человеком, о котором она даже не может знать, достоин ли он ее любви? Неужели вы в самом деле можете оправдать такую беспечность и легкомыслие женщины, которая все-таки не так уж молода и должна была бы быть осмотрительной, хотя бы ради своих детей?

— Я повторяю вам, сударыня, — отвечал я, — что в этом случае я отказываюсь обвинять или осуждать. Вам я могу спокойно признаться, что раньше я немного хватил через край: эта бедная мадам Анриет, конечно, совсем не героиня, вовсе не натура, склонная к приключениям, и уж меньше всего «носительница великой страсти». Насколько я

ее знаю, она мне кажется обыкновенной, слабой женщиной, которую я отчасти уважаю, ибо она имела мужество отдаться своим желаниям, но еще больше жалею, потому что завтра, если не сегодня, она, наверно, будет очень несчастлива. Может быть, то, что она сделала, было глупо, слишком поспешно, но ни в коем случае нельзя сказать, что она поступила пошло или низко, в этом отношении я держусь своего мнения, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

— Значит, вы ее так же уважаете и так же почтительно к ней относитесь, как и раньше? И не проводите никакой разницы между той почтенной женщиной, в обществе которой вы были третьего дня, и той, которая вчера бежала с незнакомым ей человеком?

— Никакой. Ни малейшей разницы.

— Is that so? ² — невольно спросила она по-английски: разговор, как видно, чрезвычайно занимал ее. И, поразмыслив мгновение, она снова взглянула на меня вопрошающим, ясным взглядом. — А если вы завтра встретите мадам Анриет — скажем, в Ницце — идущей под руку с этим молодым человеком, вы ей поклонитесь?

— Разумеется.

² Так ли это? (англ.)

— И заговорите с ней?

— Разумеется.

— Ну, а если бы вы... если бы вы были женаты, вы бы представили такую женщину вашей жене, как будто бы ничего не случилось?

— Разумеется.

— Would you really?³ — снова сказала она по-английски с недоверчивым удивлением.

— Surely I would⁴, — невольно ответил я тоже по-английски.

Миссис К. замолчала. Она, казалось, напряженно думала; вдруг, глядя на меня так, словно была удивлена собственным мужеством, она сказала:

— I don't know, if I would. Perhaps I might do it also⁵.

И с той невыразимой уверенностью, с которой только англичане умеют внезапно закончить разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Благодаря ее присутствию спокойствие снова

³ В самом деле? (англ.)

⁴ Конечно, да (англ.).

⁵ Я не знаю, поступила ли бы я так. Очень может быть (англ.).

воцарилось за столом, и мы все чувствовали себя обязанными ей тем, что недавние враги раскланялись друг с другом со сносной учтивостью и нескольких легких шуток оказалось достаточно, чтобы разрядить опасно сгустившуюся атмосферу.

Несмотря на то что спор как будто бы закончился в конце концов по-рыцарски, все же после тогдашнего раздражения осталось какое-то легкое отчуждение между моими противниками и мной. Немецкая чета держалась замкнуто, итальянской же доставляло удовольствие язвительно осведомляться у меня в последующие дни, не слышал ли я чего-нибудь нового о сага signora Henrietta^б.

При сохранении всей внешней учтивости непринужденность и сердечность нашего застольного общения окончательно исчезли.

Холодную насмешливость моих недавних противников особенно оттеняла для меня совершенно исключительная любезность, с которою, после этого спора, стала ко мне относиться миссис К. Всегда чрезвычайно сдержанная, едва достаивавшая разговором во внеобеденное время своих соседей по столу, она

^б Дорогой синьоре Анриетте (*ит.*).

теперь не раз находила случай заговаривать со мной в саду, и я бы даже сказал — оказывать мне особое внимание, разрешая мне сопровождать ее, потому что, при ее чопорной сдержанности, уже и беседа с ней казалась как бы милостью. Говоря откровенно, она прямо-таки искала встречи со мной и пользовалась любым поводом, чтобы начать со мной разговор; это было так ясно, что я пришел бы к смелым и странным догадкам, если бы она не была старой, седой дамой. О чем бы мы ни говорили, наша беседа неизбежно возвращалась к ее исходному пункту — мадам Анриет. Ей доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять нарушительницу долга в душевной нестойкости и нравственной ненадежности. Но в то же время она, казалось, радовалась тому, что мои симпатии непоколебимо остаются на стороне этой красивой, изящной женщины и что меня никак нельзя убедить, хотя бы на мгновение, отказаться от этого сочувствия. Она постоянно направляла в эту сторону наш разговор, и я уже не знал, что мне и думать об этом поразительном, почти навязчивом упорстве. Но вместе с настойчивостью у этой старой представительной дамы было такое благородство речи, такая образцовая сдержанность в чувствах, что каждый раз она снова очаровывала меня, и я получал от бесед с нею редкое удовольствие.

Так прошло пять-шесть дней, причем она ни словом не обмолвилась, почему эта тема наших бесед имеет для нее значение. В том же, что это так, я убедился, сообщив ей как-то во время прогулки, что мое пребывание здесь подходит к концу и что через день я думаю уехать. Ее всегда спокойное лицо стало вдруг каким-то странно напряженным, и словно тень тучи пробежала по ее серым ясным глазам.

— Как жаль! Мне бы хотелось еще о многом поговорить с вами.

Она впала в какую-то беспокойную рассеянность, и я чувствовал, что, говоря со мной, она думает о чем-то другом, поглощающем ее мысли. В конце концов она сама это заметила, потому что, когда наш разговор, по ее вине, оборвался, она неожиданно протянула мне руку и порывисто сказала:

— Я вижу, что сейчас не могу ясно выразить вам то, что хотела. Я лучше напишу вам. — И, торопливее, чем обычно, она направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, четким почерком. К сожалению, я довольно легкомысленно обошелся с бумагами моей юности и давно уже где-то затерял это письмо, так что теперь не в состоянии привести его дословно и могу лишь приблизительно передать его

смысл и содержание. Она писала, что вполне сознает необычность своего поступка, но ей хотелось бы знать, может ли она рассказать мне кое-что из своей жизни. Это такой давний эпизод, что, собственно, он едва ли имеет отношение к ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что вот уже двадцать с лишним лет ее мучает и волнует. И так как в другом случае, где проступок был гораздо более очевидным, я выказал удивительную, на ее взгляд, свободу и снисходительность, ей бы хотелось в беседе со мной разрешить свое собственное сомнение. Если я не считаю такой разговор навязчивым, она просила бы меня уделить ей час времени.

Письмо, из которого я привожу здесь по памяти лишь самое существенное, несказанно поразило меня: английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность, но в самом слогое была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ все же дался мне не так легко, и я разорвал три черновика, прежде чем написал:

«Для меня большая честь в том, что Вы дарите меня таким доверием, и я обещаю Вам быть честным в своем суждении, если Вы его от меня требуете. Только я просил бы Вас говорить со мной